

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ИВАН БУНИН

МИТИНА ЛЮБОВЬ
Роман. Повести. Рассказы

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б91

Художественное оформление серии *А. Бондаренко*

Оформление суперобложки *Н. Ярусовой*

В оформлении суперобложки использованы
фрагменты работ художников *Витторио Маттео*
Коркоса, Генри Хатта и Станислава Жуковского

Бунин, Иван Алексеевич.

Б91 Митина любовь. Роман. Повести. Рассказы / Иван Бунин. — Москва : Эксмо, 2022. — 544 с. — (Библиотека всемирной литературы).

ISBN 978-5-04-108947-4

Иван Бунин — первый русский нобелевский лауреат, трижды был награжден Пушкинской премией, самый молодой академик Петербургской Российской академии. В XX веке продолжил традиции великой русской литературы XIX века, мастерство И. Бунина настолько тонко и отточено, «...что все описанное — совсем не описанное, а просто-напросто существующее», по мнению Ф. Степуна.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-108947-4

© Бунин И.А., наследники, 2022
© Паустовский К., послесловие,
наследники, 2022
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

Содержание

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

СВЯТЫЕ

11

ЧАША ЖИЗНИ

24

ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО

46

ГРАММАТИКА ЛЮБВИ

69

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

79

МИТИНА ЛЮБОВЬ

85

РОЗА ИЕРИХОНА

146

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

148

ИДА

156

ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА

165

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕКРАСНЕЙШАЯ СОЛНЦА

205

СНЫ ЧАНГА

210

ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА

Роман

КНИГА ПЕРВАЯ

229

КНИГА ВТОРАЯ

280

КНИГА ТРЕТЬЯ

335

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

376

КНИГА ПЯТАЯ

424

Константин Паустовский

Иван Бунин

526

Как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен...

И. Бунин

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

СВЯТЫЕ

Дом был полон гостей, — гости бывали часто и гостили подолгу, — светлая морозная ночь сверкала звездами за мелкими стеклами старинных окон. К кафельным печкам подойти было нельзя — так накалили их. По всем комнатам горели праздничные лампы, в самой дальней, диванной, даже люстра, мягко игравшая хрусталем, смугло-золотистым от времени. В гостиной сдавали на трех зеленых столах, за высокими канделябрами, в блеске свечей. В столовой стол был уставлен закусками, посудой и разноцветными графинами: гости то и дело выходили из гостиной, наливали рюмки, чокались и, потыкав вилками, возвращались к картам. В буфетной кипел ведерный самовар: старик-буфетчик волновался, ссорился с Агафьей Петровной, шипел и замахивался серебряной ложкой на Устю, накладывая граненые вазы вареньем, наливал стаканы черным чаем и посылал подносы в гостиную. Вся лакейская была завалена хорошо пахнущими шубами, шапками и лисьими поддевками. А там, в дядиных комнатах, сидел Арсенич.

Дети заходили и в лакейскую и в буфетную, стояли возле играющих в гостиной; от нечего делать таскали со стола в столовой кружочки колбасы, смотрели в нижние стекла: видно было глубокое небо в редких острых звездах, снег, солью сверкавший под луною, длинная волнистая тень дыма из поварской; а дальше, за белыми лугами — высокие кособоры, густо поросшие темным хвойным лесом, сказочно посеребренным луной сверху. Подражая гостям, дети говорили друг другу «вы».

— Мить, а Мить, — сказал застенчивый Вадя, — вы нынче пойдете к Арсеничу?

— А вы? — спросил Митя, как всегда, очень строго. — Я непременно пойду.

И, оглянувшись на гостиную, на буфетную, — ходить к Арсеничу запрещалось, потому что у него было очень холодно, — дети медленно, как будто гуляя, перешли зал и вдруг быстро шмыгнули за небольшую дверку возле печки в углу — в те необитаемые комнаты, где жил и умер дядя-охотник и где теперь гостил Арсенич, раза два-три в год приходивший повидать своих господ.

Дом жил своей жизнью, веселой, праздничной, эти комнаты своей — бедной, всем чужой. Но Арсенич наслаждался своей близостью к той, первой. Два-три раза в год барыне докладывали, что он стоит у крыльца. Она приказывала сказать ему, чтобы он шел в дядины комнаты, и Агафья Петровна посылала ему самовар, колбасы, белого хлеба, графинчик водки. Арсенич, сидя весь день один-одинешенек, пил чай, курил, сладко плакал и поздно ночью, — в одно время с господами, — укладывался спать, усталый и растроганный, на соломе возле печки. Прожив так с неделю, он искал случая увидеть барыню и, наклонявшись ей, несколько раз поймав ее руку для поцелуя, удалялся на деревню, на свою квартиру у мужика. Это и называлось — повидаться со своими старыми господами.

Дядиных комнат было две. Теперь в первой комнате было темно, только на полу лежали и наполняли темноту таинственным лунным светом два белых частых переплетов; пахло тут седлами дяди и крысами. В другой сумрачно, дрожащим пламенем полыхала на кухонном столе возле остывшего самовара толстая сальная свеча в черном жестяном подсвечнике и густыми волнами плавал дым: посылали Арсеничу и табаку, но слабого, турецкого, и Арсенич, чтобы накуриться, принужден был курить без передышки. Топили тут плохо, окно было запущено серым инеем, и от него несло морозом. Большая черная картина висела в углу вместо образа: на руках чуть вид-

ной Богоматери деревянно желтел нагой Иисус, снятый со креста, с запекшейся раной под сердцем, с откинутым назад мертвым ликом. Арсенич, взлохмаченный, как кипень седой, красный и небритый, в истертом дядином пиджаке, сидел, подложив под себя одну ногу в валенке, на табурете возле стола. Он курил толстую вертушку и в какой-то радостной задумчивости плакал горькими слезами, не стирая крупных капель, катившихся по носу. Как всегда, дети, не спуская с него любопытных глаз, подошли к столу и стали пристально разглядывать сизые старческие руки, ворот грязной ночной рубашки, тоже дядиной, и красное, измятое, в колючем серебре лицо. Арсенич, стыдливо отвернувшись, стал искать по карманам свой ужасный носовой платок.

— Вы опять свои дудки курите? — спросил Вадя, остановив большие чистые глазки на этой ветошке, давно и бережно хранимой.

— Опять, сударь, — покорным шепотом, тихо и радостно улыбнувшись, ответил Арсенич.

— И водку пили? — спросил Митя.

— Пил и ее, окаянную...

— Всю?

— Всю-с, — прошептал Арсенич. — Только вы за ради бога не сказывайте мамаше про мои слезы. Это я не от этого-с. Сами изволите знать — не первый раз...

— Я ни за что не скажу, — сказал Митя твердо. — А вы? — спросил он Вадю. — Вы ведь тоже не скажете?

Вадя, что-то думая, нежно покраснел, поспешно перекрестился и помотал головой. Из зала доносился смех, говор. Кто-то, на время освободившийся от карт, играл на фортепьяно польку «Анну». Слушать старинные звуки было и приятно и грустно. Слушая и думая что-то, Вадя спросил:

— Вы бедные?

Арсенич вздохнул.

— Бедность не беда-с, и в богатстве, например, пропадают люди, — ответил он. — Мне ваша мамаша мешину выдают и рубль серебром денег, а за квартиру я не бог

ведь что плачу, всего четвертак в месяц... В этом случае я на Бога не жалуюсь.

— Вы теперь умрете скоро, — сказал Митя.

— Сущая правда ваша-с. Полагаю, даже нонешней зимой.

— А охотником вы были?

— Нет-с, этого не привел Бог. Я у вашего дедушки буфетчиком был.

— Вы о дедушке плачете?

— Ну, что ж о них плакать-с! — сказал Арсенич. — Они, например, еще в сорок осьмом году скончались. Да и прожили по нашему времени немало — восемьдесят семь лет с лишком. Я нонче плакал по поводу блудницы и мученицы Елены, о судьбе ее несчастной...

Из-под печки вынырнула мышь, метнулась было к столу и побежала в темную комнату. Дети проводили ее заблестевшими глазами, потом, облокотившись на стол, опять стали рассматривать глянцевиные рукава Арсенича, жилы на его сморщенной розовой шее.

— Ее казнили? — спросил Вадя, вспоминая других мучениц и мучеников, о которых постоянно рассказывал Арсенич.

— Это уж как водится, — ответил Арсенич. — Только не мечом, не пыткой, а еще хуже того...

— Вам ее жалко?

— Понятно, жалко-с. Только я ведь больше не от жалости плачу, а, например, от своего чувствительного сердца. Это дело-с, по старому преданию, так было, — сказал Арсенич, стараясь не глядеть на детей, отводя от них глаза, опять покрасневшие. — Жила-была, например, самая что ни на есть отпетая блудница, по имени Елена, девушка богатого рода, отменная красавица и бездушная кокетка...

— А где она жила? — спросили дети, перхая от дыма. — В лесу?

— Нет-с, это ей потом Господь привел жить и пострадать за свою верную любовь в лесу, а сперва она проживала в столичном городе, в пространной и чудной

квартире, в пирах, в веселии, по балам да маскарадам, — попросту сказать, блуд творила за большие деньги. Была же она, например, все-таки не настоящая госпожа и называлась промеж господ Адель, а брала, конечно, с кого попало, и с пьяного и с тверезого, даже, может, не побрезгала бы приказным творением, будь у того средства. Ездили к ней первые князья и графы, делали ей подарки из последнего, многие даже руки на себя наложили из-за ней... ну только она в этом случае и бровью не веда и была ко всем, например, бесчувственна, как Ниоба, ни к кому не питала привязчивости: была у нее вечная-бесконечная тоска на душе. Такая-с тоска, что и сказать невозможно!

— А вы у ней в гостях были? — спросил Вадя.

— Статочное ли дело-с! — сказал Арсенич. — Я, сударь, холоп простой, дворовый человек всего-навсего. Меня оттуда господа палками выгнали бы; да и поделом было бы!

— А дедушка?

— Дедушка — те иное дело, но только они тогда, может, и на свет не рожались еще. Это, сударь, в старинные времена было, и тому теперь никогда не бывать, теперь век настал бездушный... Ну, так вот я и докладываю вам: была эта Елена просто алчная блудница, и множество господ пропали, например, из-за ее красы, как червь капустный. Только всходит однажды в ее уборные комнаты, уж этак поздно вечером, главный ее камердинер и докладывает, что желает ее немедленно видеть молодой и прелестный граф из свиты самой государыни императрицы. Она сидит, например, за своим туалетом в одном капоте, чешет бесподобным черепаховым гребнем роскошные волны кудрей и отвечает, что, мол, я бы весьма рада, да теперь слишком поздно, я и так, говорит, из-за своей корысти день-деньской как в смоле киплю и, значит, принять его и осчастливить никак не могу, беру ванну с духами, а потом спать ляжу, меня тоска съела, ненавижу всех, зрить не могу... Слуга удаляется, но только вскорости опять всходит и говорит, что, мол,

так и так... граф проиграл в штос все свое состояние и хочет на последние свои средства... — Арсенич при этих словах с трудом овладел голосом... — и хочет, говорит, на последние свои средства провести ночь прекрасной любви... А будучи, например, допущен к ней, несказанно пленил ее своей младостью и томной грустью, и порешили они тут же умереть одной смертью в один час и даже миг. Да Господь-то, видно, не по-ихнему судил! Может, на то вон Ее святая воля была, — сказал Арсенич, поднимая воспаленные глаза и указывая ими на Богоматерь. — Всякие там богини никогда не могли по-нашему страдать и сердечность иметь, они только страсть свою питали, а ведь Она сама за свою любовь к кресту пошла скорбеть... Но только Спаситель ей так сказал: «Не плачь, моя мать, Дева Мария, моя мука — живот вечный отныне и во веки веков...»

И Арсенич, заплакав, на минуту смолк, прижимая рукав к лицу, облитому слезами.

— Все? — тихо спросили дети, подождав продолжения.

— Нет-с, не все еще, — со вздохом облегчения сказал Арсенич. — Они, докладывая вам, умереть решились, и, конечно, молодой граф тотчас же скончался, а ее этот яд не мог взять, ей вскорости полегчало, и осталась она еще жить на белом свете, чтобы, например, пострадать и награду получить за свою первую и последнюю любовь... Мужское дело, конечно, иное... мужчина может, и любя свой предмет, прельщаться на других, а уж женщина нет, никогда себе этого не позволит, она, может, оттого и грех делает, что не нашла себе достойного... Ну, вот так и тут. Она, конечно, даже в лице изменилась, исхудела, стала еще прекраснее прежнего и совсем отвортилась, например, от бездушной светской жизни, стала неглижировать своими обязанностями и уж ни за какие блага в мире не соглашалась предать свое тело, полюбивши одного до гробовой доски. Тут, в скором ли, в долгом ли времени, хозяйка оказалась ей недовольна, зачала ее всячески мальтретировать, она же безо всякого ответа

собрала в ночное время все, например, самоцветные камни и брошки, какие ей надарили, завязала свое голландское белье в узелочек, да и удалилась в дремучий лес, где, может, только одни орлы скрывают да рыси по дубам прядают. Взяла она, значит, с собой лишь этот узелок да, например, материно благословение, образ Николая-угодника в серебряной вызолоченной ризе, идет по межам куда глаза глядят и плачет горькими слезьми, не хуже меня такого-то — конечно, уж от радости, что вырвалась, значит, на волю, под голубые небеса, и доходит до большого стада. Пастух спрашивает, кто она такая, а она безо всякого страха подходит прямо к нему, отдает ему свой драгоценный узелок, всякие свои редкости, снимает с себя роскошные наряды и кринолины и просит его отдать ей свое нищее рубище. Тот, понятно, рад-радехонек, скинул поскорей свой пошлый зипун и прикрывает, например, ее почесть нагое тело. А она, низко ему поклонившись, идет бедной странницей дальше и приходит в тихий монастырь, в прекрасную женскую обитель в этом дремучем лесу, просит стариц принять ее простой послушницей и начинает вместе с ними спасаться, грехи свои, например, замаливать и изо всех сил просить себе у Бога вечной-бесконечной жизни.

— Где тля тлит, — добавил Вадя, вспоминая прежние рассказы Арсенича.

— Нет, сударь, не тля, — сказал Арсенич, — а напротив того, радость безмерная. И вот, по воле Божьей, происходит такой нечаянный случай: оказался в той обители старец древний, живописец крепостной, пожелавший к монахиням на покой удалиться. Писал он, например, всякие образа, всякие священные живописи для ихней церкви и начинает, видя ее красоту и муку, всякий ее самый низкий труд, умолять ее дозволить списать с нее образ Царицы Небесной, всех скорбящих радости. Она падает в ноги ему, закликает Христом-богом не делать того. «Я, говорит, великая грешница, я предана вечному унынию, смертному греху, я имею на душе страшную тайну», — ну, словом, почесть признается, что я, мол, и

до сих пор не могу расстаться с любовью к одному человеку... да, наконец того, просто и одежда моя не позволяет, я, мол, в черной бедной рясе, а снять ее не могу ни на одну минуту — такой обет Богу дала... Но только тот старец остается, например, непреклонен: говорит, эта одежда разрешается, ты бледна и прекрасна, как мраморный групп, и черный цвет тебе как нельзя кстати... Жалуются, наконец, самой матери игуменьи... А та возьми да и прикажи немедленно же снять этот портрет с нее. Старец, конечно, радуется несказанно, регулярно делает свое дело, остается только венчик золотой округ головы подрисовать и в церковь нести... И уж хотели было так и сделать, как думали, венчик, значит, подрисовать и освятить этот образ прелестный, чтобы в церковь его, например, поставить, как оказывается вдруг страшное, несказанное дело: оказывается, эта девица Елена... ну, просто сказать, тяжелая, беременная, и уж никак нельзя скрывать этого больше, сама природа не позволяет... Боже мой, — воскликнул Арсенич, качая головой, — что тут было делать монахиням! Свет везде бездушен, а ведь она плод любви понесла! Она никогда того положения не знала, не могла, не любя, зачать дитя в своей утробе, а тут полюбила как на грех, а уж раз она стала не простая девица, а мать беременная, как могла она блуд в этом случае творить?

— Они ее убить велели? — спросил Митя.

— Нет-с, хуже, они ее в ночь-полночь в лес выгнали, — сказал Арсенич. — И вот извольте подумать, что она должна была прочувствовать в этом случае? Может, одна Фекла-старица то испытала в сновидении, в хождении своей души по мукам. А ведь, однако, один платочек белый, какой она подала нищему старику и какой ангел на весы, в посрамление бесам, кинул, и то спас ее, всех ее грехов тяжелее оказался!

— А зачем ее выгнали в лес? — спросили дети.

— А куда же-с? — ответил Арсенич. — Конечно, в лес дремучий, непроходимый...

— Где орлы скрыжуют, — добавил Вадя.

— Истинно-с, где орлы скрывают и всякий зверь необузданный съесть может, — повторил Арсенич с горьким торжеством. — Где дивья темь лесная и одна скала-пещера могла служить ей приютом! А она в той пещере принуждена была дитя родить, и пеленает его, например, чем может, дерет в этом случае свою последнюю рубашку на свивальнички, а тут, может, всякие рыси голосят, глядят с дубов зелеными глазами и летит и шумит сама птица-Игра, — Арсенич крепко сделал ударение на первой букве, — летит птица-Игра, вся белая с черными крыльями, вьется, кричит, хочет его, например, крыльями до смерти затрепать... И, конечно, не смогли они, беззащитный младенец с матерью, стерпеть такой муки, голоду-холоду, поругания и тут же и скончались, потому что у ней не только молока в грудях, а и хлеба ни синь пороха не осталось для пропитания... И что же тут случилось, какое внезапное чудо! Звери, птицы, и те возрыдали, восскорбели о ней, и такой вихорь поднялся по лесу, что в самую ночь-полночь проснулась вся обитель от такого шума, а древний этот старец, живописец, вскочил, например, с ложа в своем студии, слышит в этом страшном шуме чей-то голос, повелевающий ему поскорее в лес идти, и, как был, так и выбегает вон, всех будит, зовет мать игуменью, зовет самую старую старицу-схимницу и отправляются они, значит, в трех лицах, с огнями, с фонарями, в этот самый непроходимый лес. А там, например, только уж бездыханное тело лежит! Стоит чаща дремучая — и лежит под ней, под сосной, которая певг называется, мать красы неописанной, вся как снег белая, в своей ризе черной, гробной, с мертвым младенцем у бесплодной груди — и горит округ ее головы венчик огненный, весь лик ее бледный и ризу озаряет: значит, тот самый, какой не насмелился старец-живописец на своей иконе подрисовать, узнавши о грехе Елены, про то, кто она такая в миру была! Это ли-с не чудо великое, это ли не указание? — воскликнул Арсенич восторженно и горько, глядя на детей вопрошающими красными глазами, от которых еще белее казалась его взлохмаченная седина.

— Ее в монастырь принесли? — спросили дети.

— Понятно-с, куда же больше. И, конечно, с великими почестями отпели и схоронили, как мощи, в самой церкви, даже с младенцем вместе, и к ручке ее со слезами прикладывались... Вот тут-то, небось, и вспомнили, что апостолы-то святые нам наказывали: помните, мол, — великое, несметное множество грехов прикрывает любовь!

Темная свеча полыхала, как лучина, Арсенич смолк и долго молчал в какой-то думе, глядя на свою руку и на ветошку, зажатую в ней. Митя пристально и серьезно ковырял подсвечник, облитый застывшим салом. Вадя не сводил с огня неподвижных и уже дремотных глаз. В зале опять играли польку «Анну», и кто-то, смеясь, кричал: «Не пускать, не пускать!» Вдруг Вадя очнулся и спросил охрипшим голосом:

— А вы будете святой?

Арсенич закачал головой.

— Ах, сударь, какой вы грех великий говорите! Да я, как пес какой, округ господ весь век свековал, дня одного страдания не знал! За что же награждать-то меня?

— А вы это все сами выдумали?

— Боже избави! Я все это по народу слышу да из книг сличаю-с. Сiju и читаю на гулянках, — у меня книги бесподобные, старинные есть... Душа у меня, правда, не нынешнего веку... Мне Господь не по заслугам великий дар дал. Этому дару старцы валаамские только при великой древности, да и то не все, помогают. Этот прелестный дар — слезный дар называется. А уж как я стихи, например, люблю, того и сказать даже невозможно!

И, глядя на детей грустно-радостными глазами, Арсенич, на старинный лад, певуче продекламировал:

И в последний мой час я завет вам даю:
Посадите вы ель на могилу мою!

За окном, по сугробам, скрипели полозья саней, со скрипом шли к крыльцу лошади, громыхая бубенчиками: кто-то уезжал в светлую морозную ночь, в те туманно-се-